



## Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК [Ю. НИКОЛАЕВ]

### Вл. Соловьев и Чаадаев

По поводу книги Вл. С. Соловьева «Национальный вопрос»

По поводу моей статьи «Всемирное единство и идея национальности» (Моск<овские> вед<омости>. № 101) о Вл. С. Соловьеве<sup>1</sup> мне пришлось выслушать одно замечание. Было сказано, что я напрасно не упомянул о Чаадаеве как о предшественнике г. Соловьева.

Эта мысль уже проскальзывала в печати. Приходилось и мне указывать на это сходство, хотя мельком и не в смысле сделанного мне замечания, но, во всяком случае, тема эта интересная, на ней стоит остановиться, тем более что таким образом я дополню первую мою статью, где говорил о сущности пропаганды г. Соловьева, не касаясь ее происхождения.

Ошибка вот в чем. Г<-н> Соловьев вовсе не является продолжателем Чаадаева, он даже не его последователь, он просто *один их эпигонов* Чаадаева, притом менее всего удалившихся от основных положений своего — нельзя сказать учителя и предшественника, а разве только учителя, да и то с большою натяжкой, и никак уже не предшественника.

Коперник был *предшественником* Кеплера, Кеплер был предшественником Ньютона; Коперник внес в мир новую идею, завершил их дело, научно обосновавши эту идею, доказавши, что в ней заключен закон природы, и, понимая слово *предшественник* в этом смысле, уж конечно, нельзя назвать Чаадаева предшественником г. Соловьева. Если допустить — чего нет, — что Чаадаев сказав «новое слово», как теперь любят выражаться, внес новую идею в понимание исторических судеб России, если даже допустить это, то все же по отношению к г. Соловьеву нельзя назвать Чаадаева «предшественником». Г<-н> Соловьев не сделал никакого нового шага в развитии чаадаевской идеи, не сделал даже ее более доказательною. Чаадаев ему не

предшественник, и он не продолжатель Чаадаева, а всего лишь его *подражатель*. Он подражает Чаадаеву, и притом не совсем удачно. Кто читал знаменитые «Философические письма» Чаадаева, тот, конечно, скажет, что статьи г. Соловьева по отношению к ним не более как легкий фельетон, бойко и не без остроумия написанный, но совершенно поверхностно популяризирующий идеи, высказанные в «Философических письмах», — идеи, высказанные там с подкупающим искусством аргументации, необыкновенно сжатым, ясным и блестящим языком.

Статьи г. Соловьева могли иных поразить, как бы какое новое откровение, иных опечалить и, вообще, возбудить внимание и интерес в качестве чего-то нового и неожиданного только потому, что в обществе нашло чрезвычайно мало распространения знакомство с историей отечественной литературы, так что Чаадаева, например, иные знают лишь понаслышке, а иные, не чуждые образованности, вовсе о нем не слыхали, не говоря уже о том, что самые «Философические письма» читали разве только специалисты по литературе, профессора там какие-нибудь да, может быть, десяток-другой людей из образованного общества. Да и сами наши г.г. литераторы-западники знают о Чаадаеве столько же, и более из десятых рук проповедуют извращенные клочки и отрывки его идей.

Надо, хотя в кратких словах, прояснить «чаадаевское дело». Чаадаев, в сущности, лишь облек в литературно-философскую форму, в строго логичные выводы то брожение отрицательной общественной мысли, которое началось у нас еще с реформы Петра Великого. Поводом к тому был Карамзин. Соприкоснувшись с Европой, заметив, что у этой Европы есть история и есть наука, называемая историей, мы начали доискиваться и своей истории, ибо поняли, что цивилизованному народу без истории жить нельзя. Эти поиски увенчались «Историей государства Российского». Карамзин извлек нашу историю из архивов и облек ее в научные формы, созданные Европой; мало того, европейские понятия о власти, о значении власти, о долге, о чести, о государстве, о народе, о правительстве и управляемых — все это он прилаживал к фактам русской истории или, лучше сказать, ко всему этому он старался приладить факты русской истории. То, что было тогда фальшивого в представлениях Карамзина о русской истории, заметили тогда немногие, да, кажется, только двое и заметили: Пушкин и Чаадаев. Многие же ожесточенные враги Карамзина ожесточились на него не за эту фальшь, которая прошла для них незамеченною, а за «направление» его сочинения, как выразились бы

теперь, за пропаганду и отставивание монархического принципа, но это было дело частное, временное, случайное, — дело раздора тогдашних наших «партий». На самую же сущность дела обратили внимание, как я уже сказал, только Пушкин и Чаадаев. Пушкин, безусловный поклонник Карамзина, высоко ценивший его труд, тотчас же, однако, заметил фальшивую сторону в «Истории» Карамзина, что с неподражаемым юмором и удивительно глубиной выразил в своей «Летописи села Горохина», в произведении, которое, кроме положительного своего значения, является еще изумительно тонкою и глубокою сатирой на фальшивую сторону карамзинских воззрений<sup>2</sup>. Но Пушкин понимал, что если Карамзин не создал русской истории, то это вовсе не значит, что у нас нет ее.

Иначе посмотрел на дело Чаадаев. Ясный и последовательный, но доктринерский ум его тотчас же различил фальшь карамзинских представлений о русской народности. Чаадаев приложил к делу ту же западноевропейскую мерку, какую пользовался Карамзин, и показал, что эта мерка не *приходится* к фактам нашей истории, нашего быта: что у нас *нет* понятий о государстве, о чести, о долге, о доблести, о патриотизме и т. д., что у нас вообще нет культуры. В своей критике Чаадаев был в известной мере прав. Действительно, факты нашей истории решительно не подходили к европейским понятиям; действительно, в *европейском смысле* у нас не было культуры. Ошибка Чаадаева заключалась в том, что он *европейскую культуру* считал единственно существующею и единственно возможною. Не найдя у нас существенных признаков такой культуры, Чаадаев объявил, что у нас ее вовсе нет и не может быть. Отсюда можно было сделать только два вывода — и они были сделаны.

Если у нас нет культуры, если мы не имеем истории, если Россия есть пустое место и лист чистой бумаги, то, чтобы нам сделаться людьми, стать культурной страной, нам надо усвоить единую возможную и единую существующую культуру — европейскую. Так думали одни — и отсюда пошло наше *западничество*.

Нашлись люди, которые посмотрели на дело иначе. Эти люди думали, что европейская культура не единая возможная и не единая существующая. Если наша история, наш быт, наша народность не подходят к нормам, выработанным в Европе, то это не значит еще, что у нас нет ни быта, ни истории, ни культуры. Если факты нашей истории не подходят под европейские понятия о власти, о государстве, о чести, о доблести, о патриотизме и т. д., то это вовсе не значит, что у нас нет этих поня-

тий, а значит лишь, что они есть, но иные, не европейские, а иного типа. Следовательно, надо отыскать основы *нашей культуры*, осмыслить и развить эти основы, а не перевоплощаться в европейцев. Отсюда пошли наши так называемые *славянофилы*.

Замечательно, что этого же мнения *придерживался и Пушкин*; кроме всего другого, это ясно и из не очень давно опубликованного письма его к Чаадаеву, имеющего своим предметом именно «Философические письма».

Между прочим читаем в этом письме следующее<sup>3</sup>:

«Вы говорите, что мы черпали христианство у нечистого источника, что Византия была достойна презрения и презираема и т. д. Но, друг мой, разве сам Христос не родился евреем и Иерусалим разве не был притчей во языцех? Разве Евангелие от этого менее дивно? Мы приняли от греков Евангелие и предания, но не приняли от них духа ребяческой мелочности и прений. Нравы Византии никак не были нравами Киева. Русское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы Реформации в минуту, когда человечество нуждалось больше всего в единстве...

Что же касается до нашего исторического ничтожества, я положительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и, наконец, даже удельные войны — ведь это тоже жизнь кипучей отваги и бесцельной и незрелой деятельности, которая характеризует молодость всех народов. Вторжение татар есть печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ход к единству (к русскому, конечно, единству), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и окончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели это не история, а только бледный, полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история. А Екатерина II, поместившая Россию на пороге Европы? А Александр, который провел нас в Париж, и, положив руку на сердце, вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России, чего-то такого, что должно поразить будущего историка? Хотя я лично сердечно привязан к императору, но я далеко не всем восторгаюсь, что я вижу вокруг себя; как писатель — я раздражен, как человек с предрассудками — я оскорблен. Но, клянусь Вам честью, что ни за что на свете я не хотел бы ни переменить отечество, ни иметь иной истории, как история наших предков, такую, как нам Бог ее послал».

Вот как образовались два течения русской мысли — западническое и славянофильское.

Эти два течения имели свои оттенки: западничество имело этих оттенков гораздо больше и гораздо более резких, славянофильство — меньше. Собственно говоря, формула, провозглашенная Чаадаевым, так и осталась уединенною. Эпигоны Чаадаева отбросили главную составную часть его воззрений. Чаадаев признавал европейскую культуру — культурою *католическою*; основой ее, этой культуры, единственною и единственно существующею, он считал католицизм. Следовательно, по Чаадаеву, чтобы нам воплотиться в европейцев, прежде всего надо было воспринять *католическую* культуру. Последовательный ум Чаадаева, культивированный широким образованием, хорошо понимал, что все течения европейской мысли, начиная от протестантизма и кончая гегельянством, рационализмом, материализмом, имеют свое начало в католицизме. Его эпигоны этого не поняли. Они совершенно отбросили чаадаевское понятие о католической культуре и, сообразно с разными оттенками западнического течения, принимали разные течения европейской мысли за основу европейской культуры. Таким образом, у нас были западники — бюрократы и демократы, западники — абсолютисты и конституционалисты, западники — мистики, западники — социалисты и т. д.

Сперва западничество, имевшее оправдание и основание в ходе нашей истории, было течением сильным, и выразителем его являлись люди больших дарований и широкого образования; в настоящее время, когда одной отрицательной критики оказывается недостаточно, наше западничество, по своему происхождению учение отрицательное, потеряло свою внутреннюю силу, истребалось до неузнаваемости, и если имеет большое распространение, то лишь в полуневежественной массе читателей газет, и если имеет своих литературных представителей, то лишь в лице «среднего рода» журнальных фельетонистов да тех ученых «третьего сорта», по меткому выражению Дюринга, которые мало чем отличаются от «среднего рода» журнальных фельетонистов, выпуская «фельетонные» ученые сочинения и читая «фельетонные» лекции.

Вот эти-то теперешние «западники», как всем еще памятно, с восторгом встретили статьи г. Соловьева, зачислили автора в ряды «своих», поздравили его с отречением от прежних его «заблуждений» и, вообще, поняли дело так, как будто бы г. Соловьев «сжег все, чему поклонялся и поклонился всему, что сжигал».

Тут вышло недоразумение. Очевидно, в его статьях прочли или захотели прочесть совсем не то, что он написал. Он просто-напросто хочет воскресить чаадаевскую идею в чистом ее виде; он просто хочет ввести в игру, если можно так выразиться, выброшенный эпигонами Чаадаева из его теории элемент — он хочет, чтобы мы перевоплотились в европейцев не так, как хотят того наши глаголемые либералы, а так, как понимал это Чаадаев; он хочет, чтобы мы восприняли *католическую* культуру, которая, как он вместе с Чаадаевым думает, есть единая возможная и единая существующая.

Таким образом, пропаганда г. Соловьева есть всего только явление исторического атавизма.

Нельзя, однако, восторженный прием, оказанный г. Соловьеву нашими либералами, объяснить только недоразумением и непониманием. Это объяснение годится разве для мелкотравчатых из них; которые покрупнее и которые поумнее, те, конечно, поняли, в чем дело. А если поняли, то прием, который встретил с их стороны г. Соловьев, иначе нельзя объяснить, как тем, что в его статьях уничтожается Россия, уничтожается русский народ, отрицается творческая способность этого народа; что в этих статьях русский народ низводится до степени какого-то полудикаря, с которым нечего много церемониться, с которым можно обращаться как с этнографическим материалом, подлежащим обработке в том или другом роде, по желанию и по прихоти «лучшей части нашей интеллигенции».

Вот в чем смысл того восторженного приема, которым встретили статьи г. Соловьева в либеральном лагере — смысл очень печальный. Это свидетельствует, что почвой для примирения самых противоположных мнений — как мнений г. Соловьева, <так и мнений наших либералов — может явиться стремление унижить Россию и русский народ...

Надо пояснить свою мысль. Обидно пояснять, но у нас до того все понимают превратно, что приходится давать объяснение того, что, казалось бы, должно быть ясно.

Странно и пояснять, что самая пламенная любовь к своей родине и к своему народу совершенно совместима с самым отрицательным отношением к темным сторонам нашей истории, нашего быта, нашей общественности, нашего народного характера. Более того, не только совместима, но истинная любовь к своему народу и *невозможна* без такого отрицательного отношения. Кто более Гоголя или Пушкина любил Россию — и кто более Гоголя отрицательно отнесся к язвам нашей народной души, к язвам нашей общественности?

В произведениях Пушкина эта черта сказалась не так ярко, что зависело от иного характера дарования гениального поэта; но перечитайте переписку Пушкина, его черновые заметки, его исторические наброски и соображения — и вы увидите, что к язвам нашей народной души он относился с таким же страстным и болезненным отрицанием, как и Гоголь.

Но и Пушкин и Гоголь *любили* те глубокие основы народного духа, народного характера, которые они умели прозревать сквозь все исторические и бытовые наслоения, затемнившие истинный смысл русской истории, истинный смысл того *просвещения*, которое было воспринято и ассимилировано народной душой Гоголя, выстрадавшей свое глубокое и беспощадное отрицание, пред которым, конечно, покажется детскою игрушкою отрицание г. Соловьева, — этот самый Гоголь истомился, сгорая душою в бесплодной жажде воспроизвести *положительные*, прекрасные стороны русской жизни, русского народного характера. Это потому, что он, великий отрицатель, с силою изумительною, с беспощадностью истинно трагическою обнаживший самые глубокие и самые гнойные язвы русской жизни, безгранично любил эту русскую жизнь, этого казнимого им русского человека. Ибо он прозревал то, чего «не поймет и не заметит гордый взгляд иноплеменный», — то,

Что сквозит и тайно светит  
В наготе твоей смиренной...

Ибо он знал, что —

Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя...<sup>4</sup>

Гоголь был подобен хирургу, который, собрав все мужество, все присутствие духа, затаив в себе нечеловеческое страдание, производит мучительную и опасную операцию над своим собственным, бесконечно любимым ребенком... Вот почему Гоголь является не только одним из самых трагических русских характеров, но может быть поставлен на ряду со всеми трагическими характерами, какие только нам предъявляют всемирная история и всемирная поэзия.

Точно так же Пушкин, видевший насквозь темные стороны русской жизни, глубоко ненавидевший эти темные стороны, умел отыскать и воспроизвести ту прекрасную сущность этой жизни, которую отыскать и воспроизвести можно было, лишь питая к своей родине и к своему народу безграничную любовь.

Эти люди, Гоголь и Пушкин, не были «квасными патриотами», не были пошловатыми оптимистами, но они умели любить Россию и русский народ *зрячею* любовью, видящею все язвы, все болезни любимого существа, но тем более его любящею, тем более его жалеющею...

Но — скажут — истина прежде всего. Первая обязанность человека, обладающего нравственным мужеством, бестрепетно заглянуть в лицо истине, как бы она ни была ужасна.

Правда.

Но где же это нравственное мужество у разношерстной публики, аплодирующей г. Соловьеву, у тех «отрицателей и мудрецов в пятачок серебра», по меткому выражению Достоевского, которые так восхищались его статьями? Если г. Соловьев действительно доказал, что Россия не более как «расслабленный колосс», что русский народ в преодолении своей тысячелетней истории не сумел воспринять никакого *просвещающего* начала, не создал никакой культуры, что русский народ есть лишь этнографический материал, который можно обработать во что-нибудь и на что-нибудь годное лишь посредством начал чуждой культуры, — если все это действительно доказал г. Соловьев, если это и есть та ужасающая истина, которой необходимо, во имя нравственного мужества, прямо и бестрепетно посмотреть в лицо, если все это так, то почему же не ужас, не отчаяние овладели нашими «отрицателями и мудрецами», а, напротив, восторг, что под влиянием его они забыли даже свои старые счеты с г. Соловьевым — забыли все единственно ради приятного известия о том, что Россия — гроша медного не стоит...

Скажут: оставьте в покое «отрицателей и мудрецов»; они — особое дело, а г. Соловьев — особое дело. Может быть, он сам, открывший ужасную истину, и есть тот нравственно-мужественный человек, не побоявшийся не только заглянуть ей в лицо, но и возвестить о ней во всеуслышание, как древние пророки возвещали гибель и расточение своему народу...

Да, примеры такого трагического мужества дает нам история. Она воспроизводит пред нами характеры великие, характеры людей, бестрепетно смотревших в лицо истины, знавших и не скрывавших от себя, что гибнет их родина, что часы ее сочтены, — и погибавших вместе с ней.

Но... припомните статьи г. Соловьева. Припомните их бравировующий тон, их самоуверенность, соединенную с почти женскою раздражительностью; в них не звучит ни одной трагической ноты, в них не слышится ни ужаса, ни отчаяния, ни

печали, ни гнева — того «праведного гнева», который так неотразимо действует в устах призывающих к покаянию.

Разве к тому, что он возвещает как ужасную истину так бы отнеслись Гоголь и Пушкин, если бы действительно убедились, что это истина?

Нет, г. Соловьев не трагическое лицо, как не был им и его образец, Чаадаев, философствовавший более ради умственной гимнастики, — и в этом-то все дело...

